

Борис Чичибабин

СИЯНИЕ СНЕГОВ

Серия «Поэтическая библиотека»

12+

Борис Чичибабин — поэт сложной и богатой стиховой культуры, вобравшей лучшие традиции русской поэзии, в произведениях органично переплелись философская, гражданская, любовная и пейзажная лирика. Его творчество, отразившее трагический путь общества, несет отпечаток внутренней свободы и нравственного поиска. Современники называли его «поэтом оголенного нравственного чувства, неистового стихийного напора, бунтарем и печальником, правдоискателем и потрясателем основ» (М. Богославский), поэтом «оркестрового звучания» (М. Копелиович), «неистовым праведником-воином» (Евг. Евтушенко). В сборник «Сияние снегов» вошла книга «Колокол», за которую Б. Чичибабин был удостоен Государственной премии СССР (1990). Также представлены подборки стихотворений разных лет из других изданий, составленные вдовой поэта Л. С. Карась-Чичибабиной.

*Издано при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям в
рамках Федеральной целевой программы «Культура
России» (2012—2018 годы)*

борис чичибабин

сияние снегов



Евгений Евтушенко

УЧИВШИЙ КРОТОСТЬЮ И МОЩЬЮ

(Из антологии Евгения Евтушенко «Десять веков русской поэзии»)

В 1959 году, когда я впервые собрался в Харьков, Борис Слуцкий, сам харьковчанин, сказал мне, что первый человек, с кем я должен там познакомиться, — это Чичибабин, и в подкрепление своих слов прочел его четыре строки:

Лестницы, коридоры,
хитрые письма...
Красные помидоры
кушайте без меня.

В них была та необъяснимость, которая и есть поэзия.

Тогдашний студент театрального училища Сережа Новожилов, ныне петербуржец, народный артист России, помог мне в первый же день разыскать дышавший на ладан домишко на Рымарской с водопроводной колонкой во дворе. Мы поднимались по деревянной лестнице, ведущей, похоже, на чердак. Шли на песню, раздававшуюся сверху под гитарные струны. Дверь не была заперта. За столом, на котором стояли полупустая бутылка водки, банка килек и пара граненых стаканов, сидели двое: тот, что с гитарой, — помоложе, другой — постарше, худущий, изможденный, из чьих глаз на меня полыхнула жгучая синева. В нем я сразу признал Чичибабина. Мы раньше не встречались, но и он догадался, кто я, приложил палец к губам, чтобы не прерывать песню, подвинул нам с Сережей по табурету и тихонечко плеснул остатки водки в чайные чашки. Когда песня кончилась, крепко пожал мне руку своей костистой сильной рукой лагерного землекопа.

— Ну, здравствуй, Евтушенко.

Парень с гитарой, угольно косматый, с такими же угольными глазами, представился кратко: «Пугачев», словно вынырнул из метельного месива «Капитанской дочки», затем добавил: «Леша», — и продолжил пение собственных, надо сказать, отчаянно удалых песен. А потом Чичибабин скомандовал:

— Ну, теперь читай, Евтушенко.

И впился в меня недоверчивым пронзительным взглядом, словно выпытывал: что ты за человек и способен ли ты выдержать славу, которая на тебя свалилась?

Одно никак не сопрягалось с его могучими глазами, с его буйной не по возрасту копной волос: он был одет во все советско-усредненное, учрежденческое, нечто заготзерновское, жэковское, счетоводческое, как будто его насильно запихнули в эту смирительную одежку. Потом я узнал, что он на самом деле работает в конторе грузового автопарка.

А когда он начал читать стихи, расправив плечи и наполнившись неизвестно откуда взявшейся мощью, в нем проглянуло что-то древнерусское, что-то от вольных новгородцев, собиравшихся на вече. Он читал, рубя голосом ритм, а ладонью воздух:

Как будто дело всё в убитых,
в безвестно канувших на Север —
а разве веку не в убыток
то зло, что он в сердцах посеял?
Пока есть бедность и богатство,
пока мы лгать не перестанем
и не отучимся бояться, —
не умер Сталин.

Стихи звучали как анафема, заклинание, клятва. Я не мог оторвать глаз от него, совершенно замороженный, а когда пришел в себя, то увидел, что комнатенка наполнилась людьми, явившимися на его голос, как на звук набатного колокола. Помню прекрасную исполнительницу стихов преподавательницу Сашу Лесникову, будущего режиссера Валю Ивченко, который подарил мне из своего рассказа изумительную строчку «Крокодил, потрескавшийся от обид», поэта Марка Богославского, художников, студентов, ученых, инженеров. В Харькове голос Чичибабина будил совесть. Ранним утром меня провожала в гостиницу целая толпа «чичибабинцев». Они и спасали его своей любовью, когда ему приходилось худо.

Отслужив во время войны три года в авиачастях Закавказского военного округа, в 1946 году студент-филолог Борис Чичибабин сел на пять лет за «антисоветскую агитацию». По тем временам, как он сам выразился, срок был смехотворным, хотя отбывал его Борис не где-нибудь, а в Вятлаге. После отсидки о филологии нечего было думать. Пришлось заканчивать курсы бухгалтеров, тогда эта профессия не была такой заманчивой, как сейчас.

В 1963 году все-таки вышла его первая, сильно общипанная цензурой книжка в Москве, а потом три таких же

в Харькове. В 1966-м его приняли в Союз писателей. Но цензурованная жизнь была не по нему. В Чичибабине все круче замешивался, по его слову, «притворившийся смирением мятеж». Его стихи о Достоевском читаются как собственный дневник поэта:

Все осталось. Ничего не зажило.
Вечно видит он, глаза свои расширя,
снег, да нары, да железо... Тяжело
достаётся Достоевскому Россия.

Когда пошли чередой диссидентские процессы, он места себе не находил, чувствуя и себя виноватым во всех жестокостях, происходящих при нем.

Живу на даче. Жизнь чудна.
Свое повидло...
А между тем еще одна
душа погибла.

У мира прорва бедолаг, —
о сей минуте
кого-то держат в кандалах,
как при Малюте.

Чичибабин выбрал не самооправдание, а покаяние:

И вижу зло, и слышу плач,
и убегая, жалкий, прочь,
раз каждый каждому палач
и никому нельзя помочь.

<...>

Я причинял беду и боль,
и от меня отпрянул Бог и
раздавил меня, как моль,
чтоб я взывать к нему не мог.

Так осудить самого себя куда труднее, чем обвинять власть, да еще на уютной кухне, как в нашем традиционном домашнем гайд-парке. Мало кто набрался мужества высказаться о себе с такой беспощадностью, как Чичибабин:

Не мне, о, не мне говорить вам про честь:
в родимых ламанчах
я самый бессовестный что ни на есть

трепач и обманщик.

Пока я вслепую болтаю и пью,
игруч и отыгрис,
в душе моей спорят за душу мою
Христос и Антихрист.

И в то время как он неувиливающе каялся перед самой высокой инстанцией на свете, какие-то жалкие партийные инстанции требовали, чтобы он покался за ощущение безысходности, за сочувствие тем, кто был вынужден уезжать с Родины без обратного билета, за стихи о «воровских» похоронах Твардовского, на которые пускали «по талонам». Не дождавшись, Чичибабина исключили из Союза писателей. Но с ним уже была Лиля Карась, писавшая такие стихи: «Как немые, мычали мы в рамы двойные». Именно она стала для Бориса и любовью на всю жизнь, и вернейшим другом. Нашелся прекрасный человек, начальник отдела в трамвайно-троллейбусном управлении Иван Федорович Светлов, взявший опального поэта на работу, а ведь милосердие к неблагонадежным было наказуемо.

Кто-то очень точно сказал: «Советская власть лицемерно преследовала Чичибабина за все те принципы, которые сама же провозглашала». Добавлю: поэтому она и развалилась вместе с Советским Союзом. А «антисоветский» Чичибабин переживал это как трагедию народов и свою личную.

Он написал о колоколе: «В нем кротость и мощь». Именно эти два колокольные качества, слитые в одно, и есть его нечаянное самоопределение. Кротость — в перенесении страданий, мощь — в их преодолении.

Чичибабин был праведник, но неистовый праведник-воин, прячущий под кажущимся многотерпением нечто аввакумовское. Он был враг любых сговоров, в том числе и со своей совестью. Если жить по стихам Чичибабина, то подавление свободы, глумление над людьми станет невозможным. Чисто по-человечески он был лучшим из всех поэтов, из всех, кого я встречал, а может быть, даже лучшим человеком из всех людей.

В 1989 году харьковчане выдвинули меня в народные депутаты СССР, и я выступал в этом давно полюбившемся мне городе у памятника Пушкину, рядом с книжным магазином «Поэзия». Люди затопили площадь, в их глазах было ожидание чего-то важного, что должно произойти в стране и со всеми нами. Мне передали, что Борис обещал прийти и поддержать меня, но в это было трудно поверить,

потому что он вообще сторонился политической публичности. И вдруг кто-то шепнул: «Чичибабин здесь». Я оглянулся и снова увидел этого человека, перед которым толпа уважительно старалась расступиться, что было не так-то просто. Из-под густых, теперь уже седых бровей так же, как тридцать лет назад, когда мы познакомились, глаза полыхали той же жгучей невыцветшей синевой — глаза гусляра и монаха, подпоясанного, однако, невидимым мечом. Я попросил Чичибабина прочесть стихи, и, пока харьковчане аплодировали, радуясь его появлению, он неловко вытискивался из толчеи и шел по единственно свободному месту — по краю клумбы, стараясь не повредить цветов, оступаясь в жирном черноземе и держа в руках захваченную из дому кошелку. Но и с этой кошелкой, и с этой неуклюжей застенчивой походкой он был совершенно естествен возле Пушкина.

КОЛОКОЛ

«Колокол» — это по-настоящему моя единственная книга...

Борис Чичибабин, 1993

МОЛИТВА

Не подари мне легкой доли,
в дороге друга, сна в ночи.
Сожги мозолями ладони,
к утратам сердце приучи.

Доколе длится время злое,
да буду хвор и неимущ.
Дай задохнуться в диком зное,
веселой замятью замучь.

И отдели меня от подлых,
и дай мне горечи в любви,
и в час, назначенный на подвиг,
прощенного благослови.

Не поскупись на холод ссылок
и мрак отринутых страстей,
но дай исполнить все, что в силах,
но душу по миру рассей.

Когда ж умаюсь и остыну,
сними заклятие с меня
и защити мою щетину
от неразумного огня.

(1963—1964)^[1]

Кончусь, останусь жив ли, —
чем зарастет провал?
В Игоревом Путивле
выгорела трава.
Школьные коридоры —
тихие, не звенят...
Красные помидоры
кушайте без меня.

Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой.
Лестницы, коридоры,
хитрые письма...
Красные помидоры
кушайте без меня.

1946

МАХОРКА

Меняю хлеб на горькую затяжку,
родимый дым приснился и запах.
И жить легко, и пропадать нетяжко
с курящейся сигаркою в зубах.

Я знал давно, задумчивый и зоркий,
что неспроста, простужен и сердит,
и в корешках, и в листиках махорки
мохнатый дьявол жметя и сидит.

А здесь, среди чахоточного быта,
где холод лют, а хижины мокры,
все искушенья жизни позабытой
для нас остались в пригоршне махры.

Горсть табаку, газетная полоска —
какое счастье проще и полней?
И вдруг во рту погаснет папироска,
и заскучает воля обо мне.

Один из тех, что «ну давай покурим»,
сболтнет, печаль надеждой осквернив,
что у ворот задумавшихся тюрем
нам остаются рады и верны.

А мне и так не жалко и не горько.
Я не хочу нечаянных порук.
Дымись дотла, душа моя махорка,
мой дорогой и ядовитый друг.

1946

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

Два огня светили в темень, два мигалища.
То-то рвались лошадки, то-то ржали.
Провожали братца Федора Михалыча,
за ограду провожали каторжане...

А на нем уже не каторжный наряд,
а ему уже — свобода в ноздри яблоней,
а его уже карьерою корят:
потерпи же, петербуржец новоявленный.

Подружиться с петрашевцем все не против бы,
вот и ходим, и пытаем, и звоним, —
да один он между всеми, как юродивый,
никому не хочет быть своим.

На поклон к нему приходят сановитые,
но, поникнув перед болью-костоедкой,
ох как бьется — в пене рот, глаза навывкате, —
все отдавав, бьется Федор Достоевский.

Его щеки почернели от огня.
Он отступником слывет у разночинца.
Только что ему мальчишья болтовня?
А с Россией и в земле не разлучиться.

Не сойтись огню с волной, а сердцу с разумом,
и душа не разбежится в темноте ж, —
но проглянет из божницы Стенькой Разиным
притворившийся смирением мятеж.

Вдруг почудится из будущего зов.
Ночь — в глаза ему, в лицо ему — метелица,
и не слышно за бураном голосов,
на какие было б можно понадеяться.

Все осталось. Ничего не зажило.
Вечно видит он, глаза свои расширя,
снег, да нары, да железо... Тяжело
достается Достоевскому Россия.

До гроба страсти не избуду.
В края чужие не поеду.
Я не был сроду и не буду,
каким пристало быть поэту.
Не в игрищах литературных,
не на пирах, не в дачных рощах —
мой дух возвращивался в тюрьмах,
этапных, следственных и прочих.

И все-таки я был поэтом.

Я был одно с народом русским.
Я с ним ютился по баракам,
леса валил, подсолнух лускал,
каналы рыл и правду брякал.

На брюхе ползал по-пластунски
солдатом части минометной.
И в мире не было простушки
в меня влюбиться мимолетно.

И все-таки я был поэтом.

Мне жизнь дарила жар и кашель,
а чаще сам я был не шелков,
когда давился пшенной кашей
или махал пустой кошелкой.

Поэты прославляли вольность,
а я с неволей не расстанусь,
а у меня вылазит волос
и пять зубов во рту осталось.

И все-таки я был поэтом,
и все-таки я есмь поэт.

Влюбленный в черные деревья
да в свет восторгов незаконных,
я не внушал к себе доверья
издателей и незнакомок.

Я был простой конторской крысой,
знакомой всем грехам и бедам,
водяру дул, с вожжами грызся,
тишком за девочками бегал.

И все-таки я был поэтом,
сто тысяч раз я был поэтом,
я был взаправдашним поэтом
и подыхаю как поэт.

1960

НАРОДУ ЕВРЕЙСКОМУ

Был бы я моложе — не такая б жалость:
не на брачном ложе наша кровь смешалась.

Завтракал ты славой, ужинал бедою,
слезной и кровавой запивал водою.

«Славу запретите, отнимите кровлю», —
сказано при Тите пламенем и кровью.

Отлучилось семя от родного лона.
Помутилось племя ветхого Сиона.

Оборвались корни, облетели кроны, —
муки гетто, козь не казни да погромы.

Не с того ли Ротшильд, молодой и лютый,
лихо заворачал золотой валютой?

Застелила вьюга пеленою хрусткой
комиссаров Духа — цвет Коммуны Русской.

Ничего, что нету надо лбами нимбов, —
всех родней поэту те, кто здесь гоним был.

И не в худший день нам под стекло попала
Чаплина с Эйнштейном солнечная пара...

Не родись я Русью, не зовись я Борькой,
не водись я с грустью, золотой и горькой,

не ночуй в канавах, счастьем обуянный,
не войди я навек частью безымянной

в русские трясины, в пажити и в реки, —
я б хотел быть сыном матери-еврейки.

КРЫМСКИЕ ПРОГУЛКИ

Колонизаторам — крышка!
Что языки чесать?

Перед землею крымской
совесть моя чиста.
Крупные виноградины...
Дует с вершин свежо.

Я никого не грабил.
Я ничего не жег.
Плевать я хотел на тебя, Ливадия,
и в памяти плебейской
не станет вырисовываться
дворцами с арабесками
Алупка воронцовская.
Дубовое вино я
тянул и помнил долго.

А более иное
мне памятно и дорого.

Волны мой след кропили,
плечи царапал лес.
Улочками кривыми
в горы дышал и лез.

Думал о Крыме: чей ты,
кровью чужой разбавленный?
Чьи у тебя мечети,
прозвища и развалины?
Проверить хотелось версийки
приехавшему с Руси:
чей виноград и персики
в этих краях росли?

Люди на пляж, я — с пляжа,
там, у лесов и скал,
«Где же татары?» — спрашивал,
все я татар искал.
Шел, где паслись отары,
желтую пыль топтал,
«Где ж вы, — кричал, — татары?».
Нет никаких татар.

А жили же вот тут они

Конец ознакомительного фрагмента.
Для приобретения книги перейдите на сайт
магазина «Электронный универс»:
e-Univers.ru.